

КОЛЛЕКЦИЯ
СОВРЕМЕННОГО
РАССКАЗА



ЧИТАЙТЕ В СЕРИИ:

ПРИТЯЖЕНИЕ НЕБА –

РАССКАЗЫ О ВОЙНАХ, ПРОШЕДШИХ
И СОВРЕМЕННЫХ, И О ЛЮДЯХ НА ВОЙНЕ
И ПОСЛЕ НЕЕ.

СВОЙ ПУТЬ –

СБОРНИК РАССКАЗОВ О ЛЮДЯХ, СТОЯЩИХ
НА РАСПУТЬЕ, И О ВЫБОРЕ ЧЕЛОВЕКА.

ЖИТЬ!

СБОРНИК



МОСКВА
2018

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ж74

Художественное оформление серии
Сергея Власова

Жить! : сборник. — Москва : Эксмо, 2018. — 288 с. —
Ж74 (Коллекция современного рассказа).

ISBN 978-5-04-093309-9

Жизнь человека похожа на полосу препятствий: случайные события, кажущиеся случайными лишь на первый взгляд, череда фатальных обстоятельств, неожиданная потеря — и вот уже от привычной уютной предсказуемой жизни не остается ничего, кроме ностальгии и старых фотографий. Эта проза о том, как выбраться из закручивающейся, тянущей вниз воронки, как, пережив подобное, жить дальше. Личный опыт молодых и маститых писателей, чьи имена стойко ассоциируются с качественной современной литературой.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Рубанов А., текст,
составление, 2018
© Евсеев Б., 2018
© Бочков В., 2018
© Рябов О., 2018
© Иванов А., 2018
© Феденко А., 2018
© Нагим Ф., 2018
© Хаиров А., 2018
© Месяц В., 2018

© Родионова Н., 2018
© Гуга В., 2018
© Софиенко В., 2018
© Сулес Е., 2018
© Калмыков Д., 2018
© Бяльская А., 2018
© Капович К., 2018
© Азнаурян О., 2018
© Орлов Д., 2018
© Фетисов Е., 2018
© Романов А., 2018
© Оформление. ООО «Издатель-
ство «Эксмо», 2018

ISBN 978-5-04-093309-9

АНДРЕЙ РУБАНОВ

.....

ТУБАНАР

В начале мая по ночам меня стал бить сильный кашель.

Через месяц я сдался докторам. Они просветили мое тело вдоль и поперек и определили туберкулез, и я очень обрадовался.

Думал, рак легких, приготовился к худшему.

Тяжелые болезни посылаются нам во избежание еще более тяжелых болезней.

Неприятности, проблемы, катаклизмы, и войны в том числе, посылаются во избежание еще более крупных проблем, катаклизмов и войн.

Примерно за два года до того, как все началось, мне был знак.

Я вдруг стал испытывать страх инфекции.

Никогда у меня не было таких страхов, всю жизнь пил из грязных стаканов, докуривал чужие сигареты, обменивался рукопожатиями с больными СПИДом. Мой круг общения всегда наполовину состоял и до сих пор состоит из подонков, убийц, барыг и наркоманов, многие сидели в тюрьмах и лагерях, многие инфицированы гепатитом, менингитом, туберкулезом и черт знает чем.

Глупо бояться заразы, проживая в нижнем слое общества.

Но я вдруг стал бояться.

В метро ловил себя на том, что стараюсь отодвинуться от людей, особенно от бедно одетых азиатов. Отворачивал лицо.

Зимой и осенью перчаток не снимал.

Стал обращать внимание, как много вокруг кашляющих, чихающих и просто распространяющих зловоние.

Эта фобия — страх заразы — то появлялась, то исчезала и никогда не мешала мне. Это был не страх даже, а внезапно возникающий фантазм, важен был не он сам, а то, что его никогда не существовало — и вот он появился.

И сбылся спустя два года.

Теперь мне пришлось собрать манатки и сдаться в приемный покой больницы.

— Два месяца, — предупредили врачи.

Я почувствовал ужас.

— Это минимум, — добавили они.

Разговор произошел накануне; потребовалось несколько дней ожидания, прежде чем освободится койка; мне предложили на выбор новую больницу на окраине или старую в центре Москвы, я выбрал центр и не прогадал.

Двухэтажную, жирного красного кирпича больницу построили больше ста лет назад, и сначала тут была богадельня, шаркали ревматическими ногами дореволюционные старушки и старички. Теперь ни следа от них не осталось, и по гулким коридорам под высокими потолками прохаживались в разных направлениях вялые люди в спортивных штанах, с лицами цвета старого асфальта — туберкулезные больные. О старых временах напоминали только сама архитектура, полукруглые окна, и еще часовня на втором этаже, напротив главного входа.

В часовне теперь устроили столовую. Пожирая утреннюю кашу без соли и сахара, я имел возможность поднять глаза и прочитать на стене какую-нибудь фразу на церковно-славянском, вроде «Спаستися душам нашим».

Ситуация была неприятная, но не составила для меня большой драмы; наоборот, попадание на казенную койку означало символическое дно, конец одного важного периода и начало другого.

Чтобы пойти вверх, надо опуститься на дно и оттолкнуться.

Мне было сорок семь лет, опыта достаточно. Я знал, что, если у человека случается спад, человек не может преодолеть этот спад простым усилием воли.

Спад остановится сам.

Человек будет скользить вниз, пока не достигнет нижней точки.

Конечно, я не собирался терять в четырех стенах два месяца быстротекущей жизни — в моих планах было задержаться на две, допустим, недели, максимум на три, до выяснения точного диагноза, а лечиться можно и дома.

Сосредоточенные женщины в белых халатах споро оформили новичка и отвели на второй этаж и показали пальцем: вот твоя палата, вот твоя койка.

Мы, конечно, понимаем, что новичок заранее принял неприступный, «набыченный» вид: он полагал, что туберкулезная больница — это что-то вроде филиала тюрьмы или следственного изолятора. Где же современному человеку подхватить заразу, как не в тюрьме?

Новичок был, увы, не новичок в делах вынужденного сожительства. Пять лет жизни, половину молодости, он провел в армии и в следственной тюрьме, и он приготовился к спорам по поводу места в тумбочке, в шкафу,

в душевой кабине, возле открытой форточки или батареи центрального отопления.

Но в палате оказалось всего трое, и все они спали.

Я лег и тоже заснул, чтоб не отрываться от коллектива.

Палата на четверых, разделенная перегородкой; по двое недужных на каждой половине.

Большую часть суток все спят, и я тоже.

Очевидно, нам дают какое-то снотворное или успокоительное, мы спим по двадцать часов, а когда не спим — ходим медленно, пошатываясь. На наших серых лицах одинаковое выражение неудовольствия. Нам не нравится, что мы нездоровы. Наша болезнь злит нас, мы хотели бы оказаться с обратной стороны больничного забора — но нельзя. Мы заражны.

Мы спим, это примиряет нас с реальностью.

Даже Ленья спит: наш неофициальный старожил, ко всему привыкший. Его лечат уже три года, но без особого успеха. Препараты, трижды в день вливаемые в наши тела, действуют на всех по-разному, вот у Лени индивидуальная устойчивость. Точнее, не у самого Лени, а у бактерий, поселившихся в его легочной ткани. Зато невезучий Ленья испытал на себе побочный эффект лечения: от приема лошадиных доз антибиотиков у Лени повредился слух, теперь Ленья все время слышит в ушах свист. И во сне тоже.

Напротив Лени спит Григорьич — его, по слухам, скоро выпишут. Он отделался легко, восемью месяцами. Он дышит шумно и свободно, он крепкий грузный мужик с низким голосом, он в точности соответствует своему имени — такие грубые сильные григорьичи всегда есть рядом с нами, они заведуют гаражами и хозяйствами, они выбираются в среднее начальство, они разбираются

во всех сферах жизнедеятельности, они крепко стоят на ногах, они любому готовы дать совет или подзатыльник.

Эти двое — наши старожилы, а мы за перегородкой, я и Макс, он лежит второй месяц, по местным меркам — ничего.

Макс — идеальный сосед: на его груди ноутбук, в ушах — провода, в руке — телефон. Максимум тридцати, он весь опутан проводами — если он не спит, он в сети.

Иногда на моей груди тоже появляется экран, и, на взгляд входящих медсестер и врачей, мы с Максом, наверное, составляем комическую пару: двое молчаливых, с одинаковыми проводами в ушах.

В нас, четверых, воткнуты иглы, и по трубкам в наши вены медленно втекают жидкости самых невероятных химических цветов. Бледный серо-желтый, напоминающий авиационный керосин, или, например, мутно-оранжевый.

Если мы не лежим под капельницами — мы все равно лежим, чтобы унять тошноту или головокружение.

Мы встаем, только чтобы справить нужду или поесть.

Еще трижды в день нам нужно выйти в коридор, получить горсть таблеток и тут же на глазах медсестры сожрать. Таблеток много, они огромны, и проглотить их сразу не получается, но на третий день я уже умел.

Мы — мирные, бесшумные зомби, у нас нет сил даже на то, чтобы разговаривать в полный голос.

Вчера к нам вкатили пятую койку и подселили новичка, очень простого на вид человека, с оттопыренными ушами, испитого и морщинистого; дела его были совсем плохи, он едва ходил и кашлял так, что звенели оконные стекла.

Едва растолкав манатки по шкафам, он заперся в туалете и выкурил там сигарету. Дым мгновенно учуяла медсестра; прибежала, маленькая, энергичная и грубая казашка Гуля, устроила скандал. Курение каралось

мгновенным изгнанием из больницы. Новичок извинялся, голос его скрипел.

Длиннорукий, очень сутулый, впалая грудь — я решил, что он пролетарий, и не ошибся. Пришел врач составлять анкету, спросил, кем работает.

— Шофером.

— Что вы возили?

Он подумал и сказал:

— Коробки.

— Вы говорили, что похудели. Какой у вас сейчас вес?

— Семьдесят.

— А до того, как заболели?

— Сто двадцать.

— Вы похудели в два раза и не придали этому значения?

Шофер опять подумал, и морщины на его лбу покраснели.

— Нет, — ответил. — Подумаешь, похудел.

Расспросы, однако, продолжались недолго, с шофером было все ясно. Спустя полчаса медсестра Гуля воткнула ему капельницу, и он затих.

Ночью я проснулся от его храпа.

Это был храп алкоголика — то громче, то тише, с протяжными стонами-завываниями, со скрипением зубов; может быть, шоферу снилось, что его бьют или отнимают честную шоферскую зарплату. Я надел штаны и вышел за перегородку.

Шофер лежал лицом вверх поперек кровати, ногами на полу. Я увидел, что значит похудеть в два раза. Его бедра были тоньше щиколоток; кожа свисала морщинистыми складками.

Леня не спал, и Григорьич тоже.

Я потряс шофера за плечо.

— Бесполезно, — сказал Леня.

— Пробовали, — сказал Григорьич. — Не будится.

Шофер продолжал храпеть. Я потряс сильнее, твердо решил разбудить. Даже в тюрьме, по строгим арестантским обычаям, спящего можно толкнуть, если тот сильно храпит. Так что я был в своем праве. Но шофер только стонал, а потом и вовсе запрокинул голову, выставив острый кадык, и из горла потянулся сиплый вой:

— Ы-ы-ы...

Григорьич сел в кровати.

— Твою мать, — сказал он. — Это диабетический шок. У него диабет, я слышал, он врачу говорил. Сахар в крови упал. У меня так тоже бывает.

На шум прибежала дремавшая в коридоре медсестра.

— Может и помереть, — сказал Григорьич.

Через пять минут в палате было тесно — пришли дежурный врач, и еще один из реанимации, и медсестра со шприцами и ампулами.

Шофера трясло в конвульсиях. Я держал за ноги, врач из реанимации — за руки. Потом меня сменил Ленья. Медсестра двигала шоферу один укол за другим.

Лично я считал, что у шофера — белая горячка. Как раз пошли его вторые сутки вынужденного отказа от выпивки, самое время начаться галлюцинациям, а может, и психозу, зависит от того, сколько он употреблял ежедневно.

Но реальность современной медицины оказалась, как всегда, богаче моих дилетантских домыслов: больному вкололи в вену и в задницу множество самых разных препаратов и быстро привели в чувство.

В какой-то момент он обмочился, но это входило в логику ситуации. Чего же не обмочиться на радостях, если едва не умер?

Очнувшись, он стал извиняться перед всеми — на него сверху вниз смотрели шестеро — и умолять дать ему возможность переменить трусы. Он порывался

встать, но вставать было нельзя; он хотел было, но врач из реанимации удержал.

Когда врачи ушли, я, Леня и Григорьич подняли шофера над постелью за руки и за ноги, а медсестра поменяла простыни.

Шофер сипло возражал, но Григорьич велел ему заткнуться и отругал за то, что тот не следит за своим здоровьем.

По-моему, я что-то ему сказал, «бросай пить, друг» или что-то в таком роде. Может, не сказал, а подумал. Голова работала плохо, в меня каждый день вливали литр самых злобных антибиотиков, которые существуют в природе. И вся история с шофером меня только разозлила. Шофер был в любом случае не жилец; мой ровесник, он выглядел на шестьдесят. Он явно трудно добывал свой хлеб, и его ждало безрадостное будущее: он должен был умереть в ближайшие три-четыре года от водки или болезней, вначале незаметных из-за пьянства. Человеку нельзя физически опускаться — мы рождены прямоходящими и никогда не должны опускаться к земле свои лица и плечи.

Скорее всего, я ничего не сказал, а молча ушел и уснул.

А сосед мой Макс и вовсе не слышал происходящего. Он тяжело переносил лекарства и вообще плохо соображал.

Утром шофер все-таки встал. Я слышал, как он шаркал и пыхтел за перегородкой, звенел ложечкой в стакане — оклемался, в общем.

В тот же день его увезли в реанимацию.

После него в туалете остался вонючий дым и плавающий в унитазе пакетик с чаем.

Из реанимации его уже не вернули — не умер, конечно; скорее всего, перевели на первый этаж. Я его больше не видел.

На его месте в тот же день оказался новый человек, мальчишка лет двадцати.

Он заселился не один, с ним пришла жена, такая же юная, розовая толстуха, одетая под эмо, в розовое и черное, очень деловая. Она сама проверила матрасы и застелила постель собственным, с собой принесенным, бельем.

С врачом они разговаривали вдвоем, и на вопросы отвечала в основном именно толстая шустрая жена.

Это были настоящие взрослые дети.

Оказалось, что у двадцатилетнего мужа эпилепсия и какие-то еще отклонения по психиатрической части, — я не слишком прислушивался.

Розовая толстуха ушла, покормив мужа из термоса чем-то жареным. Она мне понравилась. Я специально вышел в коридор, чтобы посмотреть. Девчонка была некрасива, но прекрасна, она крепко держала парня в руках.

Наступила пятница; на выходные дни многих больных неофициально отпускали по домам.

Ушел Леня. Ушел Григорьич.

Эти двое были насквозь пропитаны лекарствами и не представляли для общества опасности.

Макс никуда не ушел, ему не разрешали даже выходить на улицу. Ему запретили и курить. Ему доставалось больше всех нас, втрое больше разноцветной фармакологии. Его привезли с кровохарканьем и собирались, в случае ухудшения, хирургически удалить пораженную бактериями область легких. Врачи пообещали Макс, что отпустят не раньше, чем через год. Если бы не компьютер и не Всемирная паутина, Макс, может, сошел бы с ума.

Мне тоже не разрешили уйти, да я бы и не смог.

Наслаждался покоем, не выходя из горизонтального положения.

Я всегда любил выходные дни, даже если сам работал семь дней в неделю с утра до ночи; эту общую приподнятость, расслабленность, атмосферу законного праздника: небольшого, но зато неотменяемого. Самые энергичные и трудолюбивые люди по субботам и воскресеньям становятся вялыми и не спешат отвечать на входящие телефонные звонки. В больнице — то же: не так зычно переговариваются уборщицы, и не вбегает нервная медсестра, требуя немедленно сдать кровь на анализ.

Весь день я просуществовал в непривычном состоянии овоща, дремал, жевал или смотрел кино.

Во второй половине дня к Максy пришла его девушка, и я вышел из палаты, чтоб дать им возможность побыть вдвоем. Девушка, как я понял, всерьез любила красивого высокого Макса, иначе зачем бы ей приходиться каждый день, рискуя заразиться? Конечно, таким образом она старалась доказать свои чувства.

Впрочем, она побыла недолго. Может, полчаса. Когда я вернулся на свою койку, глаза у Макса блестели. Я за него порадовался.

Мальчишка-эпилептик иногда подавал голос из-за перегородки: звонил жене и что-то излагал в подробностях. Простые люди умеют очень подробно рассказывать друг другу о разных мелочах, дует ли из форточки, болит ли зуб, а особенно кто, кому и что сказал, и зачем обидел, и что имел в виду. К счастью, ближе к полуночи мальчишка уgomонился.

Ночью у него начался приступ. Я проснулся от всхлипов и бульканья слюны. Я видел достаточно эпилептиков и понимал, что происходит. Надо было вставать, идти к нему, перевернуть на бок, а в идеале вставить меж зубов что-нибудь твердое, чтобы несчастный не проглотил собственный язык. Надо было, наверное, по-

звать медсестру. Но я не встал, никуда не пошел и никого не позвал. Лежал и равнодушно слушал, как он хрипит и сотрясается.

Я решил, что встану, если он будет задыхаться серьезно. Мне казалось, что, если начнется полноценная агония, если бедолага начнет захлебываться слюной, я пойму, почувствую момент и тогда помогу.

Но если бы я ошибся, если бы он умер — я бы не чувствовал за собой никакой вины.

В прошлый раз я встал и помог, шофера спасли от диабетической комы, от смерти. Но чудесное спасение ничего не изменило. Люди, остановившие собрата на краю гибели, только вздохнули и тут же разошлись кто куда.

В этот раз я не встал и не помог, потому что это тоже ничего бы не изменило.

Еще один больной. Еще один спасенный.

И если бы он помер, этот мальчик, никто бы не обвинил меня в бездействии. И даже косого взгляда не направил бы в мою сторону.

Я отвечал только перед Богом. Но появись сейчас Бог или его ангелы, упрекни меня в черствости — я бы молча кивнул. Ну да, черствый.

Но бесконечно менее черствый и беспощадный, чем сам Создатель, согнавший нас, костлявых, серых, кашляющих сипло, в одно место и заставляющий гнить заживо.

Зачем он наградил человека, в его юные годы, целым набором тяжелых хворей?

Ну и, конечно, в голове все время крутилась одна и та же мысль, знакомая множеству людей. А может, вообще не надо никого лечить? Может, хорошо бы слабым умирать в младенчестве, чтобы планета доставалась только сильным, здоровым, краснощеким особям?